

Наш учитель по имени Лева

Если говорить о возрасте, у нас была разница в одиннадцать лет. И почти все одноклассники сразу же после школы перешли с ним на ты и звали его просто — Лева. Я почитала в нем учителя и обращалась к нему по имени отчеству — Лев Хаимович, Вы.

Кто бывал в Чадыр-Лунге, знает — место это необычное и очаровательно странное. Только здесь в центре города на заросшем травой пятачке сами по себе пасутся овцы, а пастух, одетый в костюм "Адидас", зачитывается "Крестным отцом". Только здесь в летний полдень небо стелется по пыльной душной земле и воздух сух и особо пахнет жарой. Только здесь осень делит время с зимой, а весна приходит неожиданно. Утром.

В какую-то — одну из последних — нашу школьную весну неожиданно в класс пришел он. Утром. Резким движением взял чей-то учебник. "Дайте хоть посмотреть", — в пространство сказал он, полистал и — мы замерли и тут же влюбились — швырнул учебник в дальний угол. "Вы что, идиоты? — он напирал на нас. — Вы что, не в состоянии сами до этого додуматься?"

Мы еще не понимали, о чем это он — стояла ленивая провинциальная весна — но нутром чувствовали, как воздух наполняется непривычными запахами и время сжимается, чтобы сделать рывок.

Уж не знаю, о чем после звонка, прячась за туалетом, говорили мальчишки, почти по-взрослому затягиваясь сигаретами. Но мы с девчонками бурно обсуждали молодого учителя литературы и русского, его испачканный мелом синий костюм, навсегда желтый от табачного дыма указательный палец, его неповторимую стремительную походку, подгоняемую согнутыми в локтях руками. Его звали Лев Хаимович Гольдберг.

Как-то сразу исчезла грань между отличниками и двоечниками. Для него не имело значения, готовы мы к уроку или нет и в каких отношениях мы с заданным на дом классиком. Он пересказывал сюжет изучаемого литературного произведения и предлагал обсудить какую-нибудь ситуацию. Он учил нас думать, рассуждать и не бояться. Не бояться показаться глупыми. Не бояться произнести свою мысль вслух, не бояться отстоять ее.

Вовка Лазарев, красивый, смысленный, не прочитавший ни одной книги и севший сразу после школы то ли за убийство, то ли за чужую вину — говорили разное, — всегда тихо молчал на задней парте, за что получал гарантированные тройки и гладко перекатывался из класса в класс. Но на

каком-то очередном обсуждении, не поднимаясь с места, он тоже вставил свои "пять копеек". Лев Хаимович сосредоточился на нем и яростно стал разбирать героя с Вовкой.

А в конце урока, спохватившись, сообщил: "Лазарев, тебе пятерка". На следующем уроке Вовка тянул руку, выпрыгивая из-за парты. Было такое. Я не выдумываю. Спросите моих одноклассников.

А на первой парте сидела Лена Топчу. Тихая девочка. Что-то спросил ее Лев Хаимович, а она не ответила. Он аж задохнулся от возмущения, открыл журнал и прошипел: "Я не могу тебе поставить двойку. Для твоего незнания нет оценок. Ты не знаешь — на отлично! Тебе пятерка!". Что-было-на-следующем-уроке! Лена отвечала великолепно. В тихой девочке Лев Хаимович всколыхнул самолюбие и упертость. Оценку он ей не поставил, сказал, что она с честью отработала аванс.

Он ворвался в нашу жизнь. И словно открылись шлюзы. Хотелось свободы и бунта хотя бы в радиусе метра. Нас распирало. И мы с Иркочкой Бабинцевой первыми в школе сменили короткие юбки на макси. И нас выставили с урока — переодеваться. Мы переоделись. Но ветер перемен уже носился по коридорам нашей средней номер четыре, он искал выход, чтобы разнести по соседним улицам.

Лев Хаимович очень скоро стал завучем по воспитательной работе. Завел в школе КВНы. Они были беспомощными, но собирали полные залы. Много зрителей было с других улиц — из других школ. В зале страсти между болельщиками гудели похлеще, чем на сцене между командами. Конечно, это было работой Гольдберга. Он находил для болельщиков невероятные задания, типа одним снять транспарант, приветствующий праздник месячной давности, другим заколотить дыру в заборе — то, до чего у завхоза не доходили руки. А обнаружив как-то зевающего болельщика, тут же утвердил приз скучающему зрителю — спичку — в зубах ковыряться.

Он открыл в школе факультативный литературный кружок. Заседания проходили в актовом зале. Переполненном. Старшеклассники всех городских школ приходили сюда после занятий, заглянуть за двери других миров. Это были необычные заседания-лекции. Лев Хаимович зачитывался стихами, прозой, открывая ее для себя и для нас — одновременно. И мы, затаив дыхание, слушали непривычную музыку слов, загнипнотизированно следя за рукой учителя с навсегда пожелтевшим от табачного дыма пальцем. Он отбивал такт.

А потом был городской театр. Режиссер все тот же Гольдберг.

А потом он выпустил наш выпуск из школы и ушел. Ему стало тесно. Ушел в районную газету.

Я любила, приезжая к родителям, приходиться к нему в гости. Сидеть в прокуренной квартире под свиньями, нарисованными на потолке моим мужем, слушать старые записи Высоцкого, Галича, скрипевшие с бобин пыльного магнитофона, пить на равных вино и говорить. Вначале о литературе, потом о политике. О политике вначале говорить, потом для протокола спорить, потом слушать, соглашаясь, — все начинается именно здесь, в Гагаузии.

В этом загадочном крае любой, если хочет, может вырасти из провинциала. Стать министром, а потом послом в приличной стране, раскрученным модельером, преуспевающим предпринимателем. И чтобы стать классным — не провинциальным — профессионалом, знаменитостью, не обязательно покидать Чадыр-Лунгу. Лев Хаимович издал четыре поэтических сборника. Для себя. А потом издали его. Да где! Его стихи вошли в один из томов престижного альманаха "Сатира и юмор XX века"! Его стихи печатал "Фонтан".

Недавно я была у него в гостях. Он съехал из прокуренной квартиры со свиньями, нарисованными на потолке моим мужем. Он, как настоящий гагаузский помещик, жил в большом светлом доме. Компьютер на кухне и в спальне. Рабочий кабинет на кухне и в спальне. Все должно быть под рукой. Мы как всегда пили вино. Он гладил кошку и, конечно же, говорил о политике. Об этих вечных боях ветряных мельниц, о вечно одном сценарии с разными именами.

Было уютно и слегка пьяно. Но мой учитель еще не показал все владения и настоял, чтобы мы вышли во двор. Старый виноградник и огромная летняя пристройка. И погреб с двумя одинокими бочками. Лев Хаимович дал мне шланг и фантик — пластмассовую бутылку — и скомандовал: "Дуй". Я и стала дуть, взбаламутив ароматное вино. Он стал ругаться — между слов, — продолжая о чем-то говорить. Наверное, о том, что в сражениях с ветряными мельницами есть тоже толк. Ты каждый раз побеждаешь себя. А усталость... Это нормально. После сражений всегда так — пыль оседает на обувь, усталость ложится на руки. А может, он говорил о другом. О своей запутанной счастливо-несчастной жизни, застрявшей на десятилетия в этом очаровательно странном и необычном месте. Я не помню. Было немного пьяно и очень хорошо.

"Вы говорили как-то, что всю жизнь учите не бояться", — напомнила я ему. Он засмеялся весело и коротко и серьезно сказал: "Знали бы вы, как я боюсь сам".

Он учил нас, он учил их, он учился сам. Но только сейчас, когда в возрасте пятидесяти пяти лет он скончался, я вдруг поняла — он учил нас еще одной мудрости: мир каждого — две улицы и три перекрестка, а вдоль обочины множество открытых дверей в другие миры. Но чтобы владеть вселенной, совсем не обязательно покидать эти две улицы с прилегающими к ним тремя перекрестками.

За двоих, с любовью и признательностью
Ирина ТЮТЮННИК-ВИШНЕВСКАЯ

Из стихов Льва ГОЛЬДБЕРГА, очень давних

* * *

Каждый второй здороваётся,
Каждый полуторный знает,
Что же до каждого первого —
Он тоже кое-что слышал.
Крохотный этот райцентр
Точно не центр рая,
Снег здесь и тот сразу тает —
Как наостришь лыжи?

* * *

В квартире — вовсе не во сне,
Как бы зайдя в пике,
Мерцают лики трех свиней
На потном потолке.
Серьезны взгляды у двоих,
У третьей — просто жуть.
Я, просыпаясь, вижу их,
И если спать ложусь.
А каждый гость вопросов горсть
Подбрасывает вмиг,
Чтобы понять, зачем как гвоздь
Торчит в решетке крик.
Все жаждут получить ответ,
Подвластный их челу,
Мол, почему такой сюжет,

И свињи — почему?
Они твердят, что ни во грош
Не ставят, мол, химер,
И что ужасно нехорош
Подобный интерьер.
Как будто я не жду тех дней,
Развязки узелка,
Когда проснусь — и нет свиней,
Не стало потолка.

* * *

В этом квартале дома как монахи,
Но самый черный монах —
Где занавески дымом пропахли
И одиночеством сумрак пропах.

Раньше маячили магнитофоны
И теребил телефон,
Где отбиваются нынче поклоны,
Что ни строфа — то поклон.

Но зарифмованные молитвы
И среди прочих молитв
Только ответ на вопрос: "не болит ли?" —
Только ответ, что болит.

Это как клялся встречать на вокзале,
Да перепутал вокзал...
Жаль, что признания опоздали,
Жаль, что ответ опоздал.

* * *

Небрит мой дом и неухожен,
Щетина книг черней окна
Они толкуют: "Предположим"...
Они суются в руки: "На!"

Уже достали, стаей вышли,
Зажали плотное кольцо.
А я гляжу на них и вижу
Свое небритое лицо.

* * *

Это сто месяцев как замечено:
Там, где уже не свернуть,
Девушка с ведрами утром и вечером
Перебегает путь.

Ведра качаются, как запойные,
Ведь, если вспомнить, ну да:
Я никогда не встречал ее с полными —
Только с пустыми всегда.

Что ж это вечно все решка да решка?!
Во избежанье беды
Я задержусь, я немного помешкаю —
Пусть наберет воды.

Впрочем, зачем, чтобы малость потрафило,
Бить бесполезный сервиз!
Просто такие у нас с нею графики,
И по другим не сойтись.

* * *

Здравствуйте, фонаря,
Выросшая у обочин, —
Чернорабочие Дня,
Светлорабочие Ночи!

Здравствуйте, якоря
В сумрак заплывшего парка!

Вам это до фонаря?
Жалко.